



Н. А. ПОЛЕВОЙ

**Борис Годунов. Сочинение
Александра Пушкина**

СПб., 1831

Карамзинское образование в детстве, а потом подчинение Байрону в юности — вот два ига, которые отразились на всей поэзии Пушкина, на всех почти его созданиях доньше, а карамзинизм повредил даже совершеннейшему из его созданий — Борису Годунову.

<...>

Выбор предмета драмы есть также доказательство проницательного гения Пушкина. Мало найдем предметов столь поэтических, характеров столь увлекательных, событий столь разительных, каковы жизнь Бориса Годунова, характер его, странная судьба его самого и его семейства. Сообразите притом, что на памяти Годунова положено самое счастливое для поэзии обстоятельство: неточность, нерешительность определения исторического — вот сокровище для дарования смелого и сильного! Прибавьте: яркость, дерзость, так сказать, с какою судьба совершала свои определения в жизни Годунова.

Действительно: в юности раб грозного царя; в зрелости лет любимец и сильный вельможа слабого сына его, последней отрасли Рюрика; потом «первый царь русский по избранию», смелый, сильный, могущий властитель, достойный начать собою новое царственное поколение, и вдруг — низвергаемый, губимый судьбою, в полгода с высоты трона бедственно нисшедший в могилу — и от кого и как? От бродяги, дерзкого расстриги, от ничтожной толпы его сообщников. И какое же могущество губит Бориса в этом враге? Имя невинного отрока, погибшего за 14 лет, под мечом гнусного убийцы! Всего непонятнее, что беспристрастная история не решается еще назвать Бориса *виновником* этого злодейства, не положительно очернить памяти ве-

ликого человека проклятым названием цареубийцы. Сколько тут поэзии и что созданное воображением посмеет мы поставить рядом с историею Бориса! Какие богатые краски притом: Россия, с своею *царелюбовою*, *православною* Москвою; Польша, с своими рыцарскими, наездническими нравами, с своим суверенным королем; и подле нее казаки — буйная, полудикая толпа, следующая за хоругвями дерзкого искателя престола и приключений, наконец, тайная судьба Промысла, решающего участь двух великих царств, и жертва непостижимых решений его в участи семейства Борисова... Повторим мысль не новую: никогда фантазия никакого поэта не превзойдет поэзии жизни действительной. И если когда-нибудь это могло быть справедливым, то, конечно, в судьбе Бориса Годунова.

Теперь — цель и выбор прекрасны. Как приступит наш поэт к воссозданию жизни минувшего, к проявлению великой мысли, запавшей в его воображение? Перед ним лежит чистое поле романтизма, и ничто не стесняет его. Оценит ли он вполне свою идею? Где поставит он пределы объему своей драмы? Как создаст он целое из непрерывного ряда событий и на какие точки обретет он *единство* своей драмы?

Прочтите листок, следующий после заглавного листка драмы Пушкина: «Драгоценной для россиян памяти Н. М. Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин».

Итак, еще раз суждено было Пушкину заплатить дань своему воспитанию, образованию своих юных лет, предрассудкам, авторитетам старого времени! Еще раз классицизм, породивший «Историю» Карамзина, должен был восторжествовать над сильным представителем романтизма и европейской современности XIX века в России! Прочитав посвящение, знаем наперед, что мы увидим *карамзинского* Годунова: этим словом решена участь драмы Пушкина. Ему не пособят уже ни его великое дарование, ни сила языка, какую он обладает. Мы увидим в его драме только борьбу сильного гения, бледный оттенок великой идеи, и подробности должны быть непременно ложны и сбивчивы или бесцветны. Не пособит и широкая рама романтизма. Ошибки новейших драматиков отразятся на Пушкине: он сам на себя надел цепи.

Одну из неудачных частей «Истории государства Российского» составляет у Карамзина описание царствований Иоанна Грозного, Феодора, Бориса, Лжедмитрия и Шуйского. Не говорим об изложении: оно красноречиво; не говорим о подробностях: они могут быть более или менее верны. Но Карамзин бес-

человечно ошибся в основных началах событий целого столетия и до такой степени был изыскан в расположении их подробностей, что истина совершенно потухла под оптическим зеркалом его рассказа и вместо настоящих характеров и действий у него явились какие-то призраки. Прежде всего Карамзин не понял (или *не хотел понять* — и тем хуже!) совершенного изменения в духе народа и в отношениях русской удельности, какие начались с Василия Темного¹ и кончились Иоанном Грозным. Василий Темный наложил роковую руку на голову гидры уделов, в борьбе с Шемякою; Иоанн III сжал крепкою рукою разрозненные части государственного тела России; смерть внука Шемякина и присоединение Рязани к Москве Василием довершили историю уделов. Князья сделались после того вельможами, властителями, боярами, великий князь царем; политическая борьба с полем междоусобия перешла в палаты царские. Как сильна, как деятельна долженствовала быть сия новая жизнь! Она и была такова. Посмотрите на партии Глинских², Телепневых³, Шуйских⁴, Вельских⁵, Курбских⁶; вслушайтесь в буйство партий при смертном одре Иоанна, уже победителя Казани, уже 7 лет самовластителя России, мужа в полной силе возраста, супруга добродетельной Анастасии, и вы узнаете, что сделало сильного, умного, хотя и возмущаемого страстями Иоанна *Грозным*. Он ужасен восстал с своего смертного одра и так же свирепо начал терзать олигархию, как немилосердно дед и прадед его терзали удельную систему. Но гибель Новгорода, *шесть эпох* казней и двадцать пять лет железного правления Иоаннова — убило ль все это крамолу дворскую? Нет! в лице Курбского она смеялась бессильной ярости Иоанна; в лице Скуратовых⁷, потворствуя страстям владыки, как прежде в лице Адашева⁸ владея добрыми его свойствами, она унижалась, раболепствовала и — владела царством, тяготела над народом. Не смела она поднять взоров своих на царский трон, когда умер Грозный, когда 14 лет рукою слабого Феодора правил честолюбивый, отважный член сей крамолы, Борис Годунов. Она позволяла ему богатеть, славиться, властвовать, но и сама, как туча молниями, богате-ла связями, силою, смутами. Борис перехитрил всех — он по-прал ногами крамолу, он сел на престол царский, но с сего часа он обрек себя на погибель. Что он станет делать: свирепствовать, как Иоанн, унижаться, как потом унижался Шуйский? Он думает сначала привязать к себе мудростью, кротостью, силою — тщетно! Вокруг него кипят волнения, глухие, тревожные, — и Борис принимает жалкую систему *полумер* (demi-mesures), самую вредную для прочной власти. Тогда настает

минута перелома. Кто действитель? Дерзкий смельчак, назвавшийся убиенным сыном Грозного. Это имя могло ли быть страшным Годунову? Нет! обвинение Годунова в смерти блаженного отрока было так неопределенно, и народ никогда не посмел бы судить совести счастливого царя своего. Но Польша видела политическое средство кинуть пламя раздора в Россию. Имея свои расчеты, она подкрепляла Самозванца. Победы заставили бы ее умолкнуть. Духовенство — обстоятельство важное — было притом на стороне Борисовой. Чего же трепетал он? Что заставляло его робеть, не оставлять Москвы, не являться самому к народу и войску, при известной своей отважности, и не принимать смело внешней бури на грудь свою? Крамола: ее трепетал Борис, не дерзая это время решиться ни на грозные, ни на милостивые меры; крамола заставляла его бояться тени, обманывала его, изменяла ему, возмущала умы, отвлекала от Бориса сердца народа. Борис ясно видел, чувствовал это и не перенес; кровь хлынула у него из внутренности тела, среди великолепия двора, когда он взирал на унижение перед собою тех, от кого должны были погибнуть он сам и семейство его. Тогда началось и обнаружилось необузданное своеволие олигархии; в нем погибли жена, сын Бориса, потом погиб Самозванец, наконец погиб и Шуйский; оно оставило в России память *семибоярщины*⁹, предавало Россию Польше, препятствовало победе веры и народа в лице Минина и Пожарского¹⁰, и в самом избрании Михаила Романова¹¹, среди кликов восторга и радости, тало для себя средства для новых действий. Но мы все орудия в руке Провидения, и все послужило потом ко благу и счастью России.

Так должно смотреть на политическую завязку жизни Бориса и ряд тогдашних событий государственных. Но что же видел Карамзин? Вовсе не обозначив изменения системы уделов в дворскую аристократию, он описывает события, как начал описывать их с самого Рюрика, исчисляет ежегодно происшествия, побранивает, где видит худо, похваливает, где кажется ему хорошо, — и только! Но ему надобны средства для искусства, и — вот Грозный является у него театральным тираном, Полонием Сумарокова¹²; самые нелепые клеветы летописей повторяются, чтобы в Борисе непременно представить убийцу Дмитрия-царевича, как прежде повторялось все, что клеветал на Иоанна Курбский, — цепь противоречий и ошибок составляет у него описание всех событий. Для чего это? Для того, чтобы составить разительную картину: мщение Божие за кровь невинную. И вот все яркие краски истощены, чтобы явить Бориса

сначала сильным, могущим, мудрым в I главе XI тома «Истории государства Российского». И словно театральный гром, вдруг разражается над цареубийцею II глава того же тома! Будто так бывает в жизни? Будто так было и при Борисе? Нет! совсем не так. Риторика, фразы и суцая пустота и несообразность открываются при самом легком взгляде критики на все, что писал Карамзин о событиях в России с 1533 до 1612 года...

Как мог Пушкин не понять поэзии той идеи, что история *не смеет утвердительно назвать Бориса цареубийцею*? Что недостоверно для истории, то достоверно для поэзии. И что мог извлечь Пушкин, изобразя в драме своей тяжкую судьбу человека, который не имеет ни сил, ни средств свергнуть с себя обвинение перед людьми и перед потомством! Клевета безвестная, глухо повторяемая народом, тлеет в душах олигархов, когда имя *Самозванца* отдается изредка в слухе Бориса (он знал об этом за пять лет явного похода Лжедмитрия). Над головою его умножаются бедствия; крамола действует — легкий слух превращается в явный говор — Борис губит Романовых, преследует Шуйских — политика Польши обращается в Россию — и что казалось мечтою, делается всеокрушающею действительностью. Какое великое развитие тайн судьбы, какое обширное раздолье для изображения России, Польши, Бориса, Самозванца, аристократии, народа!

Все это утратил Пушкин, взяв идею Карамзина.

